

**РАБОТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ МНЕНИЕМ ЖЮРИ
конкурса 2023**

*Наталья Викторовна
Бакирова
(Свердловская область)*

ДОМ

Печная дверца была приоткрыта. Разгорались, потрескивая, дрова; пахло дымом. Вдруг выстрелил уголек: вылетел яростный, светящийся, алый — и на прибитом у изножья печи листе нержавеющей стали погас, подернулся серым пеплом.

— А Пират меня узнал, даже не залаял! — похвасталась Наташа, топая ногами, чтобы отпал снег.

Мать вытирала руки о фартук.

— В сенях-то не могла обтрястись? Для кого там веник стоит?

Раздевшись, Наташа достала из сумки коробку, протянула матери:

— Держи, это тебе, — в коробке был колокольчик «музыка ветра» — на тонких лесках прозрачные голубые дельфины. — Говорят, на счастье...

Отец разглядывал подаренный ему охотничий нож.

— Куда мне такой — на медведя ходить? — проворчал он. Глаза его блестели.

У родителей была новость — диван. Темно-серый, огромный, он за-

нял полкомнаты. Серванту пришлось убраться в дальний угол, обеденный стол подобрал ножки; а в остальном все оставалось по-старому: те же занавески на окнах, так же цветет за ними вечная королевская герань.

— Все деньги ведь ухнул! — пожаловалась мать. — На хобозину эту. А уж как его сюда затаскивали — чуть дверь не вынесли.

— Тьфу! — рассердился отец. — Тебе обсудить больше нечего? Дочь полгода не видела! Спроси вон лучше, может, она еще три татухи себе набила. Лупить ее в детстве было некому...

Мать поджала губы.

— Пойдем, Наталья, на кухню.

В кухне стыли ноги от ледяного пола, и Наташе пришлось надеть тапочки. Из комнаты слышались чужие напряженные голоса — отец включил телевизор.

— Мам... — начала Наташа, но мать перебила:

— Представляешь, Филька ушел! Ушел куда-то, и все нет и нет.

— Вернется, куда он денется. Мам...

Ей показалось, что мать съежилась, сжалась, боясь, что слова придадут реальности, давно осознаваемой обеими, окончательную плотность и вес.

— Давай чай поставим, — отводя глаза, предложила Наташа. — Я пирожные привезла.

— погоди ты с чаем, надо поесть нормально, — мать открыла холодильник, стала выставлять на стол банки, кастрюльки. — У меня все готово, салат только осталось сделать. На, морковку потри, — она сунула Наташе две очищенных вареных морковки и терку. Продолжая шарить в холодильнике, спросила: — Что нового у тебя?

— Да все по-старому. Хожу по школам, объясняю детям, как надо жить.

— Сама бы еще понимала... Когда уже молодой человек появится?

Наташа проехала пальцами по терке, торопливо слизнула выступившую красную каплю.

— А вдруг уже появился?

— Не может быть! — мать повернулась с банкой рыбных консервов.

— Я тебе фотографию сейчас покажу!

Она выскочила из кухни, вернулась с сумочкой.

— Вот!

— Хм... Обнимает тебя так нежно... А чего он в белом халате? Врач?

— Только отцу не говори. Пока не говори, ладно?

Мать покачала головой. Протянула:

— Краса-авец... Гулять будет, как пить дать. Отец! — возвысила она голос.

— Мама, я ведь просила!

— Отец! — еще громче крикнула мать, не обращая на Наташу вни-

мания. — Можешь ты хоть раз что-то полезное сделать? Консервы открой!

— Сама-то — без сил? — донеслось из комнаты.

— Видишь, видишь, как он ко мне относится! — зашептала мать. — Ни о чем попросить нельзя.

— Давай консервы, я открою, — Наташа с усилием загнала в жестяную крышку консервный нож и принялась им орудовать, вращая банку.

В сенях послышалось шебуршанье.

— Филюшка, детка! — мать побежала, распахнула дверь.

Появился упитанный серый кот. Повел ушами и принялся, подойдя, обнюхивать Наташины сапоги.

— Иди, птичка, покушай... — суежилась мать. — Вот молочко тебе... Попей, Филечка... Наталья, уйди из кухни! Он тебя не знает, не станет при тебе есть.

Наташа не ушла. Смотрела на кота, который прошел к блюдечку и, опустив хвост, стал лакать молоко.

— Мама... А ведь отец очень похудел.

Руки. То, что поразило в отце, были руки. Всегда он был плотным, обширным, что при его росте воспринималось не как полнота, но как мощь, — а теперь кожа на руках сморщилась и повисла, плечи оказались вдруг узкими, и это создавало впечатление беспомощности перед тем, что на него наступало.

Мать поджала губы.

— А я что сделаю! Похудел! Ты что, отца не знаешь — к врачу на аркане не затащишь!

— И все-таки с ним надо поговорить.

— Да у меня уже сил никаких нет! Сама и говори, если хочешь.

Наташа после обеда и завела этот разговор тихонько, осторожно, но в ответ слышала:

— Так, Мартышка! Я сам знаю, что мне делать. Яйца курицу не учат.

Отец сделал злодейское лицо и сложил пальцы, как будто собираясь вклеить ей щелбан. Ну ладно, папочка! Вот выйду замуж за доктора, за все тебе отомщу...

Уезжала «с местичка». Отец вынес в прихожую три дощатых табурета, на которых лопалась от старости бледно-голубая краска. На один табурет тут же вскочил любопытный Филька, поэтому мать села прямо на порог.

— Как же так? И не поговорили толком... — отвернувшись, вытерла глаза. Высморкалась в какую-то серую тряпку.

Отец поехал провожать на вокзал. Других пассажиров не было, они стояли на перроне вдвоем. Валил крупный снег. Рельсы блестели от света единственного на станции фонаря. Хмурый мужик в низко надвинутой шапке расчищал перрон большой деревянной лопатой.

Отец, порывшись в кармане, достал юбилейную десятирублевую монету:

— На, вроде ты собираешь.

— Спасибо, пап...

— Смотри там... Школьники тебя не обижают?

— Что ты, они хорошие.

— Звони почаще — мать переживает.

— А вы тут не ссорьтесь...

С грохотом, светом и свистом подлетел поезд.

В своем купе Наташа сдвинула в сторону жесткую оконную занавеску. Падавший с неба снег в конусе света от фонаря казался светло-оранжевым. Отец стоял под оранжевым снегом: ждал. Замерзнет ведь! И автобус пропустит — а от станции до дома девять километров... Она постучала в стекло, махнула рукой: «Уходи!» Отец стоял.

Наконец вагон дернулся и поплыл.

И отец, и фонарь медленно отъехали назад, скрылись из глаз. Потом постепенно исчезли все привокзальные огоньки — оконное стекло сделалось непроницаемо-черным. Уже нельзя было ничего разглядеть, даже снег. Но Наташа знала, что он, невидный, все метет и метет, и несется в сторону, обратную той, куда увозил ее поезд.



*Виктория
Владимировна Беляева
(Ростовская область)*

ПАРА СЛУЧАЙНЫХ КРОШЕК

Толстые голуби лениво крошат клювом добычу. Отвоевали у воробья хлебный мякиш. Воробей изловчается, выхватывает крошку у одного из голубей и взлетает. Трудная пожива выпадает в полете. Один из голубей тут же уничтожает случайно свалившееся лакомство. Все, что остается воробью — отчаянно чирикнуть на обидчиков и подняться к небу.

День солнечный, но не знойный. Июньское утро еще не утратило ароматы ночной свежести. Воробей совершает дежурный пролет вдоль аллеек парка. Может, наконец повезет найти что-то съестное. Он спускается к знакомой скамейке. Голубей здесь нет. Место полузаброшенное и глухое. Кривоватый орех разросся до огромных размеров и почти уперся кроной в небо. Кусты терновника переплелись с кустами шиповника. Скамейка как будто выросла в это дикое, цветущее место. Но не одна. Вместе со старушкой, которая и привлекла внимание воробья.

Он осторожно спускается. Садится поодаль на облупившуюся от времени металлическую боковину скамейки. Глядит, как старушка разворачивает завернутый в пергамент сверточек. Пахнет съедобно. Старушка сосредоточенно занимается делом. Из пергамента она извлекает два

тонких кусочка ржаного хлеба, сложенных один на другой и влажную марлю. Медленно протирает ей руки. Разделяет два кусочка хлеба. Между ними лежит бледно-желтый сыр.

Руки у старушки тонкие. Кожа бледная. Сквозь нее просвечиваются темно-синие вены. Старушка откладывает хлеб, поднимает руки к солнцу и долго смотрит на них. Воробей перебирается ближе. Нетерпеливо чирикает.

Старушка переводит взгляд со своих рук на него:

— Ишь ты какой чик-чирик. Ну, иди к столу, раз пожаловал.

Старушка улыбается, и взгляд у нее становится детским. Она поправляет за ухо выбившуюся седую завитушку и глубоко втягивает воздух. Воробей перебирает лапками. Старушка кивает ему. Распрямляет на скамейке пергаментный лист. Разламывает на несколько частей хлебный кусочек. Подвигает к воробью. Он в нерешительности крутится. И страшно, и аппетитно. Старушка не прикасается к своей части скромного перекуса. Она как будто забывает и о еде, и о воробье. Разглаживает на коленках блеклый, хлопчатобумажный халат. Вздыхает. Скользит рукой в кармашек. Нащупывает круглое, бывшее когда-то частью пудреницы, зеркало. Подносит к лицу. Резко отворачивается. Снова повторяет это движение. Но уже смиренно вглядывается в свое отражение. Затем подносит пальцы к щеке. Трогает и оттягивает морщинистую кожу, как будто пытается понять — настоящая ли она или маска.

Воробей, утратив страх, прыгает и бесцеремонно клюет то сыр, то хлеб.

Старушка отрицательно кивает своему отражению и прячет зеркало в карман. Задирает голову и глядит остекленевшими глазами на закрывающий солнце дуб. Затем вздрагивает от приближающихся разговоров и шума. Взгляду возвращается жизнь. Воробей останавливается. Он тоже слышит чужаков. Клюет крошку и скрывается в кроне.

Из кустов появляются две круглолицые тетки в белых халатах. Они идут нервно и решительно. На лицах недовольство и раздражение.

Старушка глядит на них и съезживается. Становится маленькой, похожей на птицу по соседству. Тетки становятся так, что старушке некуда между ними юркнуть. Одна, чуть постарше, сдвигает брови и басит:

— Галина Маркова, ну когда же кончатся номера ваши? Хоть к кровати пристегивай. Ну, артистка! Давайте-ка, марш в пансионат!

Старушка покорно встает. Тетки берут ее под руки и ведут по дорожке через парк к серому казенному зданию. Уже, точно не замечая ее, они продолжают прерванный до этого диалог:

— А я ему говорю — мне за такую переработку не платят. А он мне говорит, и главное, так с улыбочкой, — ты себе, Валентина, продуктами набираешь.

— Ой, Валя, можно подумать, прямо объели дедов. Смешно, ну ей-богу! Пусть он сам хоть раз вместо того, чтобы кресло тереть, горшки за ними вынесет...

Воробей скрывается с ветки. Он прыгает к оставленной еде. Несколько раз бьет по хлебу клювом, как будто молотком. Один из кусочков хлеба отлетает, ударяется о спинку скамейки. Воробей отрывается от яростного занятия. Встревоженно взлетает, оглядывается и зачем-то летит за исчезающей из виду старушкой. Почти настигает ее, но теряет. Теперь воробью уже не победить преграду.

Старушку забирает серый дом с закрытыми решеткой окнами.

Воробей бьет крыльями, глядя на двери и окна серого дома. Замечает в одном из окон старушку. Подлетает, садится на карниз. Через стекло старушка протягивает к птице ладони. Воробью кажется, что он чувствует тепло человеческих рук. Впервые в жизни.

Старушка оглядывается. Поворачивается к карнизу, тянется к ручке окна, дергает ее, чтобы открыть, падает. Воробей успевает заметить, как от старушки отлетает что-то пушистое за мгновение до того, как кошка запрыгивает на карниз. Он стремительно взлетает. И, набирая высоты, летит к оставленной скамейке. На ней уже во всю орудуют голуби, делят, дергают остатки хлеба и сыра.

Воробей отчаянно чирикает. Стремительно спускается на скамейку, вырывает у голубей крошки. Голуби клюют его в ответ, стараясь вытеснить с лавки. На потрепанном пере выступает кровь. Неведомо откуда прилетает еще один выцветший воробей и чирикает так же отчаянно, как

первый. Вступает в схватку с большими птицами. Голуби, сбитые с толку неожиданным сопротивлением, улетают. Пергаментный лист почти чист. Пара случайных крошек — вот и все, что осталось скамейке. Голуби успели поделить добычу, чтобы скорее улететь на поиски нового прокорма. Только два воробья, маленькие, отчаянные, не побежденные — жмутся друг к другу, как к спасению.



*Александр Михайлович
Гиневский
(Санкт-Петербург)*

ЛЕТНИЙ ДОЖДИК В ДЕКАБРЕ

Однажды летом мы были в лесу за грибами. Я, мама, папа и дядя Петя. Мы с дядей Петей собирали в мою корзинку. Так что у меня было больше всех. Мы хотели набрать много грибов, но тут бабахнуло в небе, зажглась молния и стало темно. Нет, не так. Сначала зажглась молния, потом бабахнуло в небе, а потом все вокруг потемнело. «От дождя нам не убежать», — сказал папа.

И мы побежали искать, куда спрятаться.

Мы нашли очень высокую елку. Устроились под елкой и стали смотреть в небо. Там были одни тучи. Они становились все темнее, будто началась ночь. Но тут опять зажглась молния, грохнул гром. На весь лес. А потом вдруг хлынул сильный дождь. Прямо ливень. Я даже подумал, что листья на деревьях вот-вот оторвутся. Но они не отрывались. Крепко держались за свои веточки.

Когда бабахнуло еще раз, папа сказал:

— Ну как, Вовка, страшновато?

— Немножко.

— А вот мы сейчас проверим.

От страха душа уходит в пятки. Дайка я пощупаю твои пятки...

Но тут дядя Петя схватил меня за коленку.

— Да вон где его душа, в коленках! — говорит. — Похоже, и не собирается прятаться в пятки.

— Выходит, Вовка, у нас не из пугливых? — сказал папа.

— Выходит, так, — ответил дядя Петя.

И все засмеялись.

Потом мы тихо сидели. Смотрели на траву, на деревья, на небо и дышали лесным воздухом. Очень пахло грибами. Я все смотрел по сторонам, все думал увидеть, как они растут. Но так и не увидел.

Дождик пошел тише. Далеко над лесом стало светло. Там показалось солнце. И сразу же все дождевики, все капли на деревьях вспыхнули и заискрились.

Нам вдруг надоело сидеть под елкой. Дядя Петя снял ботинки, закатал брюки и рукава рубашки. Он сделал стойку на руках и вышел вверх ногами прямо под дождь.

— Будем считать, что мои ноги сухие, потому что трава мокрее, чем небо! — сказал дядя Петя.

Мы все не выдержали и тоже вскочили из-под елки.

А дождик был такой теплый! Мне даже стало жалко, что я прятался от него.

Дядя Петя стоял на двух руках. Вдруг он остался на одной, а другую протянул мне.

— Здорово, Вовка!

И мы с ним поздоровались. Ну, будто на улице встретились.

И когда дядя Петя сделал мостик, я сделал стойку у него на живо-

те. Только я сделал на ногах. Потому что на руках еще не умею.

Потом дядя Петя стал меня подбрасывать высоко-высоко. Мне было страшно и почему-то очень смешно. Папа с мамой смотрели на наше выступление и тоже смеялись. А когда мы устали от радости и от дождика, мы вернулись под елку. Там мы перекусили. Потом мы все тихо сидели и смотрели в синее-синее небо. В небе светилось веселое солнце. И если бы мне сказали, что скоро будет осень, а потом зима, то я бы сказал, что не надо.

...И вот сегодня я вспомнил тот день с летним дождевиком. Сегодня была зима. А я вдруг очень-очень захотел тот день с грозой, елкой, дядей Петей и теплым грибным дождевиком. Я вспомнил, как нам всем было весело тогда. И мне стало грустно, что нет дождика и не пахнет грибами. Мне стало так грустно, что я пошел в ванную и включил душ. Я сделал теплый дождик. Как тогда. Потом я принес табуретку, сел и стал слушать, как шумят прозрачные струйки.

У меня был теплый летний дождик, но совсем не пахло грибами. И я не знал, что делать...

Вошла мама.

— Ты что, Вовка?

— Та-ак...

— А-а... — сказала мама. Вышла и тихо закрыла за собой дверь.

— Где он? — спросил папа.

— Он в ванной, — сказала мама.

— За что же это он себя так назвал?

— Понимаешь, — сказала мама, — человеку надо побыть одному. Иногда надо.

— Ну-ну... Он там в одиночестве разберет систему парового отопления. Вот тогда мы запрыгаем. С перепуту запрыгаем, как зайцы на снегу.

Больше я их не слышал.

А когда папа заглянул ко мне, он сказал:

— Ну что, малыш, загрустил?

— Папа, а ты помнишь, как мы летом в лесу за грибами были? — сказал я. — Еще дождик шел. Такой теплый летний дождик. И дядя Петя был. И как нам было с ним весело. Помнишь?

— Ревела буря, гром гремел. Во мраке молнии блистали... — пропел папа.

— Нет, правда... Помнишь?

— Помню, как же. Парной дождик шел... И грибами пахло. Ох, и здорово! Верно?

— Верно. Папа, а дядя Петя помнит?

— Думаю, что да. Впрочем, ты завтра сам у него спросишь. Завтра мы ждем его в гости.

— Правда?!

— Он обещал. А уж слово свое он держит. Сам знаешь.

Папа ушел. Я еще долго сидел, слушал дождик и не заметил, как уснул прямо на табуретке.

Проснулся я в кровати. Было утро. За окном шел снег. Я вспомнил про вчера. Еще я вспомнил, что сегодня увижу дядю Петю. И в комнате запахло летним дождем и грибами.

*Надежда Алексеевна
Горлова (Москва)*

ОТЦОВА СОСНА УПАЛА

На ночь бабушка занавешивала окно одеялом, чтобы комары не летели на свет. Их все равно оказывалось много в доме, но не так, как на улице. Тьма наступала, и только керосиновая лампа не давала обрушиться на нас ее сводам. Мы играли в подкидного дурака двое надвое. Собственно, сражались бабушка и дедушка, а мы с двоюродной сестрой составляли им пары. «Ну-ка, давай-ка вот с этих», «Вот она чего боится! Подкинь ей бубнушечек!», «Убери вальта, ходи с шепёрок!» — заглядывали в наши карты дедушка и бабушка. Вместе с нами, только шире, на всю комнату и потолок, замахивались картами огромные тени. Четкие, как вырезанные из бумаги, — на голландской печке, а по углам они, как в воды Стикса, впадали в мрак и растворялись в нем.

Иногда мы с сестрой отгибали край одеяла. Тогда нам в глаза смотрели звезды и просили впустить их. Бабушка не разрешала: «А ну, закрой, а то налетят!» Но невозможно казалось послушаться, мы забывали игру и теряли карты.

Ведь это же было со мной, было у меня — мы сидели в темноте, с керосиновой лампой, дедушка и бабушка играли в карты, а нам с Мариной было так интересно смотреть на небо, полное звезд.

Это было — и неужели ушло бесследно, или же ничего не оставило,

кроме раны, которая то покрывается жесткой корочкой бесчувствия, то вновь вскрывается и кровоточит?

«Отцова сосна упала»... Приснились мне эти слова, или их действительно когда-то сказала бабушка, но я слышала их внутренним слухом. И я решила поехать туда, где уже никого нет, и ничего нашего не осталось.

Осенние луга тусклой жесткой травы в серебряной пыли изморози, убогие деревенские дома, черная глянцева грязь на дорогах, одинаковые выбранные огороды, среди которых мелькали вдруг бахчи с тыквами, странно красивыми, оранжевыми, утопающими в мокрой густой земле, — все было прекрасно, но душа моя отворачивалась — это не было моим, и не хотелось смотреть.

Я сошла с автобуса в Шовском, прошла через все село и никого не встретила. Только индюшки лопотали и улюлюкали на меня.

Холодало, и дорожная грязь стекленела.

Я заметила, как много брошенных, заколоченных домов — словно мой дом в Курпинке разрушился, и мерзость запустения заразой распространилась дальше.

Я и не думала увидеть дом сразу от поворота — лес и сад набрели на дорогу, чтобы встретиться на ней, да и дома нет уже — только остовы стен. Но то, что я увидела, поразило и иссушило мое сердце...

Дом начинался с тамбура. Досчатый, он был пристроен к известковой стене. Там всегда стоял полумрак,

а в полумраке — лучи, тонкие, как соломинки, из маленьких щелок и широкие, как ленты, — из щелей в двери.

Однажды, когда дверь с утра была открыта и приперта зеленым камнем, чтобы не закрывалась, за день успели в тамбуре слепить гнездо ласточки. Мы с Мариной смотрели на них из коридора. Они как черные ножницы стригли что-то под низким потолком, а потом их будто ветром уносило.

Вечером дедушка снял гнездо, показал его нам и прилепил снаружи, с другими, под карнизом. Ночью оно упало и разбилось как цветочный горшок.

В доме на кухне пахло сырыми тряпками, а когда качали — медом. Пока на кухне царила медогонка, заходить туда было опасно, — пчелы гудели под потолком. Мертвых, скорчившихся, выметали пыльным венком, смахивали с подоконника раздавленных на стекле. Мед в огромном облупленном чане казался несъедобным — так много его было, и стояли в нем на разной глубине комочки утопших пчел. Бабушка и дедушка в черных рабочих халатах и в широкополых пасечных шляпах с мелкой сеткой отцеживали мед в пятидесятилитровые фляги, и он вливался туда пластами, будто это плотная ткань складывалась волнами, и волна тонула в волне.

На кухне была кладовка, ключ от нее бабушка носила на резинке, вместе с крестом. Заглянуть туда было редким счастьем — там, среди новых

ульев и рамок без вошины, стоял бабушкин сундук. В сундуке она хранила белье и письма от двоюродной сестры, но нам с Мариной чудилось, что от сундука идет свет в темноте, как от лесных гнилушек, — светятся в нем старинные драгоценности...

...Бетонные сваи как могильные камни на языческом кладбище вбиты в мою землю. Оранжевый, изваянный из адского пламени экскаватор стоит на краю котлована, строительные блоки и арматура лежат на вытоптанном моем дворе. Арендатор строит здесь что-то, не хочу знать что.

Отцова сосна упала и осклизла, и скворечник раскололся.

Я пошла в остов дома. Сквозь заросли заматерелой крапивы, стебли которой как кости ломались, когда я отгибала их, я пробралась из комнаты на кухню и обнаружила протоптанную тропу — рабочие устроили в нашей кладовке отхожее место.

Единственную жилую комнату в доме разделяла на две половины голландская беленая печь — вечно пачкались об нее, хотелось прислониться, прижаться к теплой неровной стене, когда за окном без шторок студнем качался ливень и солома у коновязи на глазах краснела и прела.

На скрипучей кровати у стены спал дедушка. Ночью его мучила бессонница, и спал он днем всякую свободную минуту. Дедушка мог сказать себе: «Полежу без четверти часок», ложился на голый матрас, в сапогах, завернувшись в телогрейку, засыпал

тотчас же и просыпался ровно через сорок пять минут. Дедушка храпел, а мы шептали: «Огонь, пли!» перед каждым всхрапом и зажимали себе рты, чтобы не разбудить дедушку смехом.

У окна стоял кухонный стол под затертой клеенкой, с двумя ящиками и двумя створками. В ящиках пахло клубничными карамельками, которые отсырели, и высохли, и срослись с полинявшими фантиками, карамельками, похожими на обмылки.

Там же лежали наши цветные карандаши, все тупые и поломанные, почти у всех грифель вылезал с незащенного конца, и, рисуя, приходилось придерживать его пальцем.

В ящиках хранились таблетки, спички, нитки, ловушки для пчелиных маток, пробки и дедушкины бумажки, все покособившиеся.

В нижнем отделении стола пахло медом и хлебом. В жестяных мисках там всегда стояли мед и варенья на меду, а в них — крошки хлеба, обросшие пузырьками.

Глухая занавесь делила комнату на две половины. Вторая, темная, была нашей спальней. В окно, заколоченное фанерой, скреблись и бились от ветра полынь и крапива. Даже и днем в спальне стоял полумрак и воздух был плотным, как дым.

Спали мы с бабушкой «на полатах» — так назывались плотно составленные улья, покрытые пуховой периной, мягкой, как творог, и телогрейкой, которая пахла сыростью, сеном, пасекой.

В спальне постоянно находился таз, он стоял в точном месте, и в него капало с потолка.

В спальне «доходили» яблоки, желтые и зеленые. Были они в развязанных мешках, чтобы брать удобно, и всегда несколько с побитыми боками каталось по полу. Бабушка их пинала, ругала: «Чтоб вас замочило мокрыми пирогами» и бросала в мешки, и выкатывались опять.

Ночью мы прижимались к бабушке, боясь в темноте ослепнуть, и прислушивались к ее дыханию, потея от страха и жары, и раскрыться было страшно — схватят черные руки.

А когда мы просыпались, и на улице был уже свет, а у нас — полумрак, мы в презрении к ночному ужасу пытались напугать друг друга и водили руками в воздухе. В полумраке руки слабо светились и ходили как рыбы.

Я выбралась из дома и омертвело пошла по темной дороге.

Только когда я опять переступила межу и с поворота на Шовское оглянулась в последний раз, увидела: лес и сад обменивались лучами, словно огромные райские птицы или ангелы продевали крылья сквозь ветки деревьев, чтобы поднять и унести Курпинку в приготовленную ей от века обитель.



Наталья Андреевна Коротаева (Лупецк)

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна родина.

М.М. Пришвин

— КТО ТЫ, САКАЛИБКА? — НЕ ЗНАЮ

Вечерело в провинции. Средняя полоса России. Пахнет хвоей, но крепкими узами, основанными на чем-то высоком — уже нет.

Ведь почву под ногами потеряла не только я. Обхожу окрестности. Виднеется погост. В юности я с легкостью заходила туда, рассматривала застывшие лица на памятниках, теперь же неестественная смесь природных цветовых гамм и искусственных едких венков вызывает у меня тревогу. Пришло осознание того, что больше нельзя обижаться, нельзя винить, что проложить свой путь куда труднее, чем критиковать чужой или обижаться на то, что не проложили этот путь мне заранее.

Как-то, посещая могилу бабушки, я спросила отца: «А почему мне не оставили место?» Отец, почти единственный мужчина в полосе, сохранивший веру, силу, четкий точный ум и нежность, лаконично с улыбкой ответил: «А ты строй свою жизнь». Речь, конечно, шла о своей семье, о семье мужа, которая позаботится о том, чтобы я больше не была Коротаевой. Есть одно «но». Я навсегда останусь

Андреевной. А значит, радость крепкого плеча, мудрости и знания, куда и зачем идти, или горечь неприятия будет сменяться тем, что я выкрою минуту на томление мятежного духа, минуту на то, чтобы быть неудобной, минуту на то, чтобы быть Андреевной.

Я не стала заходить на погост, но пошла в семейный дом и достала старый бархатный синий фотоальбом.

Дед. Валентин Петрович. Смуглый, зеленоглазый, кучерявый, черноволосый, молодой, не по-сакалбски красивый, противоречивый и темпераментный. Отец отца. О его корнях теперь можно только догадываться. О нем мало что известно. Мне передались его черты. Прости ему, Боже, все прегрешения вольные и невольные.

Бабушка. Надежда Ивановна. Светлая, но с темно-русыми волосами. Скромная, под фатой. Прости меня, что не успела показаться тебе взрослой, смиренной, начавшей пытаться полюбить мир. Сильная, нежная, по-детски обидчивая. Помню твои сказки на ночь, короткие молитвы, лампаду, икону Божией Матери в потемках, красный угол, леденцы в сумке, красные ленточки, которые ты вплетала мне в косы. Ты родилась через девять месяцев после начала Второй мировой войны. Ты дважды была под обстрелом. Ты видела врага, мерзла, голодала, терпела и была стойкой. Что я унаследовала от тебя? Ничего. Я не умею ничего из того, что могла ты. Если бы я только на час встретила с тобой. Я не дала бы тебе

повода для гордости, но я сказала бы, что люблю тебя и ничего не знаю.

Прабабушка Ксения. Твоему внуку достался темпераментный мужской род и стойкий, серьезный женский род. Твой муж, когда выпал первый снег, не пошел в деревню, чтобы не привести в него немца по четким следам. Он умер на месте. Его не могли похоронить в ледяной земле, потому что жечь костер — убить деревню, пригласить германского коршуна на пир. Прабабушка, тебе пришлось жить в избе, под крыльцом которой лежит тело деда в снегу. Ты пережила это. У тебя часто нервно горела грудь. Твой взгляд был неподвижный. Ты одна из всех женщин смоленской деревни решила перерезать обреченной лошади горло, чтобы было что есть. Что я унаследовала от тебя? Ничего. На могильном камне, на семейном фото ты твердо смотришь, но каким будет мой взгляд на фотографии? Трясущимся, сомневающимся, на мокром месте. Я ничего не унаследовала, прабабушка, прости.

Я закрываю альбом. И выхожу на улицу, чтобы позвонить тому, которого не могу разгадать, по которому скучаю, с которым борюсь, которого повторяю, с которым я не в пиджаке и не при полном имени, с которым всегда слабая, маленькая, капризная. Не могу произнести «я люблю тебя», потому что это кажется банальным для таких чувств. Здесь подошел бы какой-нибудь древний восточный язык, наверное. У тебя строгий мягкий голос. Ты все знаешь, все умеешь,

ко всему готов. Ты всегда был честным. Я люблю твой заостренный профиль, я люблю следить, как с возрастом ты на все отвечаешь с улыбкой.

Я люблю приходить в дом, где вырос мой отец. Я люблю нетронутый красный угол, люблю запах сырости в коридоре, люблю ковры на стенах, люблю засушенные просфоры, ягоды и дубовые листья, люблю старые лампы, мои маленькие детские носочки, хранящиеся далеко, там, где и хранится семейный альбом. Казалось, ходила по улице расколота, с тысячекратно разбитым сердцем и тысячекратно разбившая сердце сама. Но зашла в дом. И все стало. Все встало.

После недолгой прогулки ушла в материнский дом. Если отец — это низкоголосые акафисты, настойчивые призывы муэдзина, нетерпящие промедления приказы главнокомандующего, то мама — это ангельская колыбельная, мама — низенькое северное дерево, которое укроет тебя от злых стихий, преодолевая свою хрупкость, слабость корней. Вот дуют сильные ветры, вот грады хотят в кровь истерзать дитя, а оно согнулось, закрыло собой, его кора ободрана, его листочки пожелтели, но оно не разгибается.

У нас с тобой одно имя, мама. Но я никогда не смогу стать такой. В твою честь я словами могла бы попытаться изобразить Пьету, где ты на хрупких руках держишь дитя, которое в любом возрасте останется для тебя таковым. Только чадо твоё, моя липецкая русская мать, никого не

спасло, никому не подставило щеку, никому не омыло ноги, не смогло обратиться к чуду, не смогло сохранить в себе детскую душу. Но даже такое дитя, ты, моя мама, оплакивала бы, отмаливала бы и любила. Дстойна ли я тебя, мама? Прости, что у твоей единственной радости всю жизнь грустные глаза, прости, что она едва ли может нести бремя человека. Как страшно наблюдать тебе за этим и быть не в силах взять этот крест на себя, ведь у тебя уже есть свой.

Прости, Родина. Прости, земля с прахом и кровью предков; скамейка у пруда, сгнившая, но не забывшая священной любви ромашки к шафрану; небо, с перепевами колоколов и азанов, со страданиями и смехом потерявшихся и сомневающих.



*Валерия Сергеевна Урсова
(Свердловская область)*

ПИСЬМО МАМЕ

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна родина.

М.М. Пришвин

«Мама, тут так холодно.

В комнате, где я живу. На улице пахнет весной, казалось, в новом городе климат лучше, чем в нашем родном поселке, и мне должно быть теплее. Должно греть солнце, надежды на новую жизнь, радость от “у меня получилось!” да и обогреватель, в конце концов. Но нет. Я замерзаю изнутри.

Мама, тут так одиноко.

В огромном мегаполисе. Да, я мечтала вырваться из своего маленького поселка, где есть стадион, лес, а из развлечений разве что поход в магазин за продуктами, летом — в лес за грибами или черникой. Да, я хотела начать новую жизнь, взрослую, независимую, завести новых друзей и кота Бориса. Да, я думала, будет все легко, мне же всего пятнадцать, жизнь только начинается! Но. Как же. Ошибалась. Здесь меряют уровень дружбы по марке телефона, зарплате родителей и их работе. А простые человеческие отношения чужды. Из всей нашей группы в тридцать два человека я общаюсь с двумя девочками, которым люди важнее денег. К счастью, с одной из них живу в одной комнате общежития.

Мама, тут мне так дискомфортно.

С самой собой: ушла в себя и заблудилась. С момента переезда прошло больше полугода, а я все еще не испытываю счастья. И мне кажется, это неправильно. Ты же помнишь, как поставила для себя цель получить образование повара, а потом пойти работать в престижный ресторан города. Хотела реализовать мечту папы: он желал, чтобы я готовила. Мама, мне так надоели лекции про кулинарию, уже слушать не могу про правильное соотношение продуктов, виды посуды, технику безопасности. А это только первый курс. А летом практика. А осенью снова учеба.

Мама, тут такое чужое все.

И ничего родного. И даже мечта не моя. Знаешь, мне стыдно признаться: я не хочу быть поваром. Чувствую себя предателем: пообещала папуле, что реализую его желание и буду готовить. Помнишь, как я нашинковала аккуратно салат оливье, сделала шарлотку и папа сказал, что с моими способностями надо быть поваром. Шесть лет назад, в день его похорон, я дала себе слово: буду поваром, как мечтал отец.

Мама, я так хочу домой.

Хотя нахожусь дома. Это так странно: быть дома и хотеть домой. Комната общежития стала моим питерским домом, но я ощущаю себя заводной игрушкой, из спины которой вытащили ключ. У меня есть любимая кружка, мягкое покрывало, горячий чай, но это не то. Мама, я так

скучаю. По нашему поселку, траве, что щекочет ноги, летнему туману, ору чаек перед дождем — в городе их не слышно, стуку капель по крыше во время дождя (в Питере пластиковые окна с шумоизоляцией). По тебе.

Мама, я поняла, что такое родина.

И это ты. Там, где ты. Мне так хочется побыть с тобой, попить чай с нашей фирменной шарлоткой, налепить пельменей, начать смотреть какой-нибудь фильм и бросить его на середине — потому что мы с тобой заболтаемся, согреться изнутри,

ощутить самое ласковое солнце, которое есть только в нашем поселке. Потом — сходить на кладбище и посадить цветы у могилы папы.

Но я не могу бросить все и приехать. Не могу предать отца, не могу оставить колледж — вряд ли у меня еще будет возможность получить образование бесплатно. Не могу подвести тебя: не хочу, чтобы тебе было стыдно за меня.

Я вернусь на родину, обещаю. Но с дипломом повара. Чего бы мне это ни стоило».

